

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА В СТИЛЕ МАНГИ



НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

# МЕРТВЫЕ ДУШИ

Вечная классика в стиле манги

Николай Гоголь  
**Мертвые души**

«Азбука-Аттикус»

1842, 2024

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

**Гоголь Н. В.**

Мертвые души / Н. В. Гоголь — «Азбука-Аттикус», 1842,  
2024 — (Вечная классика в стиле манги)

ISBN 978-5-389-27357-3

«Мертвые души» — поэма, ставшая вершиной творчества Николая Гоголя, в полной мере раскрывшая его сатирический талант. В этой книге вы найдете не только полный текст произведения, но и вступительную статью, комментарии профессора Московского городского педагогического университета, которые помогут вам подготовиться к экзаменам. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-389-27357-3

© Гоголь Н. В., 1842, 2024  
© Азбука-Аттикус, 1842, 2024

## Содержание

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: сатира и проповедь	6
К читателю от сочинителя	8
Глава I	10
Глава II	24
Глава III	40
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# **Николай Васильевич Гоголь**

## **Мертвые души**

© Белоусова Е. Н., иллюстрации, 2024

© Оформление, вступительная статья, комментарии. ООО «Издательская Группа  
«Азбука-Аттикус», 2024  
Machaon®

## Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: сатира и проповедь

Н. В. Гоголь впервые упомянул о «Мертвых душах» в письме к А. С. Пушкину от 7 октября 1835 года. Замысел будущей поэмы развивался параллельно с началом работы над пьесой «Ревизор», к которой писатель приступил осенью того же года; ради ее завершения он на время отложил идею новой поэмы. Оба главных произведения Гоголя связаны с творческим взаимодействием с Пушкиным, рассказавшим комический случай о мнимом ревизоре и убившем Гоголя «приняться за большое сочинение» после выхода его малой прозы: «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831, 1832), «Миргорода» (1835) и сборника разножанровых произведений «Арабески» (1835).

И «Ревизор», и «Мертвые души» имеют сатирическую, обличительную доминанту, за которой читателю, обращающемуся к произведениям не единожды, открывается нравственная и религиозно-философская проблематика. В «Мертвых душах» Гоголь принципиально укрупнил художественную задачу и показал не один уездный город, как в «Ревизоре». По его словам, у него появилась «полная свобода изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров».

Отчасти похожи и главные герои произведений – Хлестаков и Чичиков. Однако если Чичиков действительно авантюрист и аферист, своего рода «разбойник» (что находит параллели во включенной в «Мертвые души» «Повести о капитане Копейкине»), то Хлестаков не обманывает сознательно, он с исключительной чуткостью следует ожиданиям напуганных известием о приезде ревизора чиновников.

«Мертвые души» (название произведения было найдено сразу) Гоголь сначала считал романом, но вскоре дал другое определение – поэма. Писателю удалось создать новаторскую поэму в прозе. Возникновение нового жанра, вероятно, тоже связано с художественным диалогом, который на протяжении всей своей жизни вел Гоголь с Пушкиным. «Евгений Онегин» в жанровом плане назван его автором *романом в стихах* – формулировка уникальная, так как романы писались в прозе, а ведущим крупным поэтическим жанром была поэма. «Мертвые души», как бы отзеркаливая пушкинскую находку, были осмыслены как *поэма (в прозе)* – тоже единственная в своем роде.

Поэтический принцип поэмы Гоголя заключается в том, что кроме линейно разворачивающегося сюжета в ней часто встречаются смысловые переклички и ассоциации между частями текста. В основной сюжет включены лирические отступления и произведения в произведении – «Повесть о капитане Копейкине» и притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче. Такого рода переходы и «скачки» характерны именно для поэзии. Например, их можно увидеть в одах Г. Р. Державина, творчеством которого Гоголь восхищался.

Необычное название – «Мертвые души» – вызвало затруднения при прохождении цензуры, указавшей на якобы возникающее противоречие с христианскими представлениями о бессмертии человеческой души. Гоголю пришлось остановиться на двойном заголовке, акцентирующем авантюрное, а не социально-обличительное начало: «*Похождения Чичикова, или Мертвые души*». Действительно, заголовок указывает прежде всего на сюжетную основу произведения: попытки Чичикова скупить числящихся живыми, но на деле уже умерших крепостных крестьян для того, чтобы до новой «ревизской сказки», переписи живых и умерших, заложить эту мнимую собственность в Попечительском совете, занимающемся делами благотворительности, то есть обманом нажиться на сиротах.

«Мертвые души» можно воспринять как оксюморон, но он вполне согласуется с православным учением о грехе и, в частности о смертных грехах, столь тяжких, что они умерщ-

влияют совершившую их душу, которую, впрочем, через покаяние и прощение Богом можно очистить и вернуть к жизни. В этом плане «Мертвые души» сопоставимы с «Развязкой „Ревизора“», написанной Гоголем в качестве послесловия к пьесе в 1846 году, где Первый комический актер поясняет, что в символическом, духовном смысле изображенный в произведении город – человеческая душа, порочные чиновники – мучающие душу страсти, Хлестаков – ветреная, обманутая совесть, а Ревизор – Судия, Бог, перед Которым в свое время предстанет и ответит за свои дела каждый. Такой контекст позволяет читателю выйти за рамки сатиры, чего очень хотел автор, и увидеть стоящую за ней книгу духовных размышлений и проповедь.

В письме к В. А. Жуковскому Гоголь писал о своем произведении: «Вся Русь явится в нем!» И, действительно, писатель изобразил и русскую провинцию, и столицу – Петербург. Путешествующий Чичиков – удачная авторская находка, позволяющая дать широкую картину социальных типов, прежде всего помещиков и чиновников. Гоголь продолжает традицию авантюрных романов, и лучшего из отечественных – «Российский Жилбаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Т. Нарезного (1780–1825). Задачу «проездить по России», чтобы хорошо ее узнать, Гоголь ставил и в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), но уже для того, чтобы создать положительный образ России.

Первый том поэмы, изданный в 1842 году, вызвал бурную реакцию и острую дискуссию. На ее издание откликнулись ведущие писатели, критики, журналисты, издатели, филологи: П. А. Плетнев, К. С. Аксаков, В. Г. Белинский, О. И. Сенковский, Н. А. Полевой, С. П. Шевырев и другие. Гоголя упрекали в безвкусице, отсутствии крупного замысла, языковых погрешностях. На защиту писателя встали П. А. Плетнев и К. С. Аксаков, сравнивший Гоголя по его художественному дарованию с Гомером и Шекспиром. Несколько статей посвятил гоголевской поэме В. Г. Белинский, считавший «Гоголя великим поэтом, а его „Мертвые души“ – великим произведением».

Гоголь продолжал работу над поэмой и, по свидетельству К. С. Аксакова, читал практически завершенные главы второго тома ему и его гостям в Абрамцеве. Однако незадолго до смерти, в начале 1852 года, писатель, находясь в угнетенном состоянии духа, признал первоначальный замысел произведения неудавшимся и неверным и сжег рукопись второго тома, от которой остались лишь черновики.

Сразу после выхода из печати «Мертвые души» стали классикой и оказали значительное влияние на развитие русской литературы и искусства в целом. Изучение художественного опыта Гоголя важно для понимания романа Ф. М. Достоевского «Бесы», сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина, прозы Ф. К. Сологуба и А. Белого, а также других авторов. По мотивам гоголевской поэмы М. А. Булгаков написал сценарий и комедию с одноименным названием. Поэму иллюстрировали замечательные художники: П. Боклевский, В. Маковский, М. Шагал и многие другие. «Мертвые души» многократно экранизировались (в фильме М. Швейцера 1984 г. роль Чичикова исполнил А. Калягин) и инсценировались (в частности Ю. Любимовым и А. Эфросом). Р. Щедрин написал поставленную в Большом театре оперу «Мертвые души» (1977).

Поэма Гоголя имеет мировое значение: переводы на иностранные языки, сначала фрагментов, начали выходить еще при жизни писателя.

*Сергей Васильев*

## К читателю от сочинителя

Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании ни находился, почтен ли ты высшим чином или человек простого сословия, но если тебя вразумил Бог грамоте и попалась уже тебе в руки моя книга, я прошу тебя помочь мне.

В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты уже прочел в ее первом издании, изображен человек, взятый из нашего же государства. Ездит он по нашей Русской земле, встречается с людьми всяких сословий, от благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут в других частях. В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в Русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом.

Какого бы ни был ты сам высокого образования и жизни высокой, и какую бы ничтожною ни показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать на нее замечания, — я прошу тебя это сделать. А ты, читатель невысокого образования и простого звания, не считай себя таким невежею, чтобы ты не мог меня чему-нибудь поучить. Всякий человек, кто жил и видел свет и встречался с людьми, заметил что-нибудь такое, чего другой не заметил, и узнал что-нибудь такое, чего другие не знают. А потому не лиши меня твоих замечаний: не может быть, чтобы ты не нашелся чего-нибудь сказать на какое-нибудь место во всей книге, если только внимательно прочтешь ее.

Как бы, например, хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знают круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного листа ее, и принялся бы читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши перед собою лист почтовой бумаги, и после прочтения нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и все, что видел сам или что слышал от других подобного тому, что изображено в моей книге, или же противоположного тому, все бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы ко мне всякий лист по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им вся книга. Какую бы кровную он оказал мне услугу! О слоге или красоте выражений здесь нечего заботиться; дело в деле и в правде дела, а не в слоге. Нечего ему также передо мною чиниться, если бы захотелось меня попрекнуть, или побранить, или указать мне вред, какой я произвел наместо пользы необдуманым и неверным изображением чего бы то ни было. За все буду ему благодарен.

Хорошо бы также, если бы кто нашелся из сословия высшего, отдаленный всем и самой жизнью и образованием от того круга людей, который изображен в моей книге, но знающий зато жизнь того сословия, среди которого живет, и решился бы таким же самым образом прочесть сызнова мою книгу и мысленно припомнить себе всех людей сословия высшего, с которыми встречался на веку своем, и рассмотреть внимательно, нет ли какого сближения между этими сословиями и не повторяется ли иногда то же самое в круге высшем, что делается в низшем? и все, что ни придет ему на ум по этому поводу, то есть всякое происшествие высшего круга, служащее в подтверждение или в опровержение этого, описал бы, как оно случилось перед его глазами, не пропуская ни людей с их нравами, склонностями и привычками, ни бездушных вещей, их окружающих, от одежд до мебели и стен домов, в которых живут они. Мне нужно знать это сословие, которое есть цвет народа. Я не могу выдать последних томов моего



сочинения до тех пор, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всех ее сторон, хотя в такой мере, в какой мне нужно ее знать для моего сочинения.

Недурно также, если бы кто-нибудь такой, кто наделен способностью воображать или живо представлять себе различные положения людей и преследовать их мысленно, на разных поприщах, – словом, кто способен углубляться в мысль всякого читаемого им автора или развивать ее, проследил бы пристально всякое лицо, выведенное в моей книге, и сказал бы мне, как оно должно поступить в таких и таких случаях, что с ним, судя по началу, должно случиться далее, какие могут ему представиться обстоятельства новые и что было бы хорошо прибавить к тому, что уже мною описано; все это желал бы я принять в соображение к тому времени, когда воспоследует издание новое этой книги, в другом и лучшем виде.

Об одном прошу крепко того, кто захотел бы наделить меня своими замечаниями: не думать в это время, как он будет писать, что пишет он их для человека ему равного по образованию, который одинаковых с ним вкусов и мыслей и может уже многое смекнуть и сам без объяснения; но вместо того воображать себе, что перед ним стоит человек, несравненно его низший образованием, ничему почти не учившийся. Лучше даже, если наместо меня он себе представит какого-нибудь деревенского дикаря, которого вся жизнь прошла в глуши, с которым нужно входить в подробнейшее объяснение всякого обстоятельства и быть просту в речах, как с ребенком, опасаясь ежеминутно, чтоб не употребить выражений свыше его понятия. Если это беспрерывно будет иметь в виду тот, кто станет делать замечания на мою книгу, то его замечания выйдут более значительны и любопытны, чем он думает сам, а мне принесут истинную пользу.

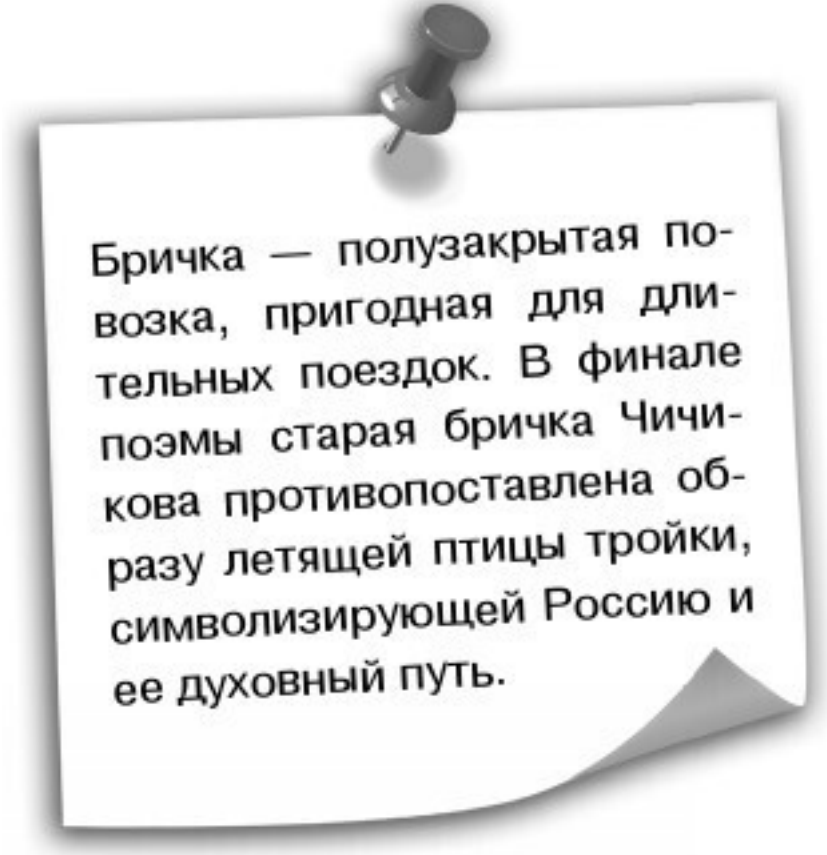
Итак, если бы случилось, что моя сердечная просьба была бы уважена моими читателями и нашлись бы из них действительно такие добрые души, которые захотели бы сделать все так, как я хочу, то вот каким образом они могут переслать свои замечания: сделавши сначала пакет на мое имя, завернуть его потом в другой пакет, или на имя ректора С.-Петербургского университета, его превосходительства Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо в С.-Петербургский университет, или на имя профессора Московского университета, его высокородия Степана Петровича Шевырева, адресуя в Московский университет, смотря по тому, к кому какой город ближе.

А всех, как журналистов, так и вообще литераторов, благодаря искренно за все их прежние отзывы о моей книге, которые, несмотря на некоторую неумеренность и увлечения, свойственные человеку, принесли, однако ж, пользу большую как голове, так и душе моей, прошу не оставить и на этот раз меня своими замечаниями. Уверяю искренно, что все, что ни будет ими сказано на вразумление или поученье мое, будет принято мною с благодарностью.

## Глава I

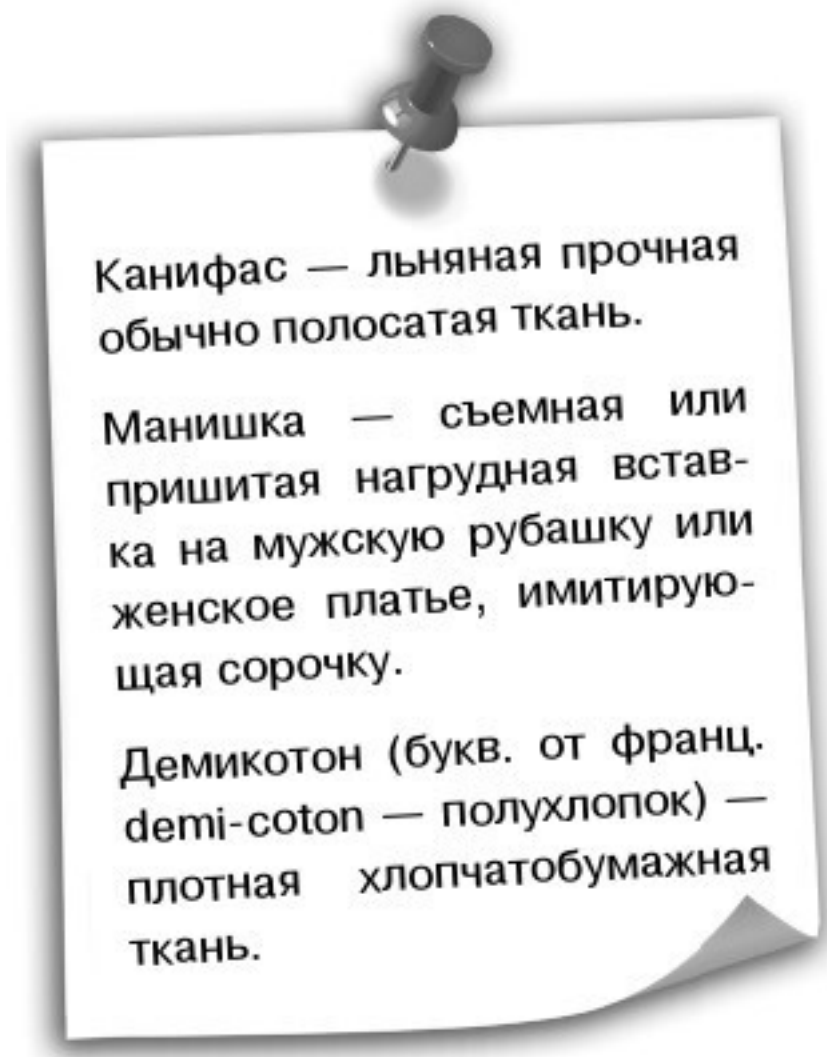
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, – словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтоб стар, однако ж и не так чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покусеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Гоголь назвал город NN, то есть «некий», «любой» или «никакой», показывая, что созданный им художественный мир одновременно и условный, и типичный. Сходный прием был использован в «Ревизоре», действие которого происходит в неназванном вымышленном уездном (то есть районном) городе, меньшем по размеру и значению, чем губернский (в современных реалиях – областной) город в «Мертвых душах».



Бричка — полузакрытая повозка, пригодная для длительных поездок. В финале поэмы старая бричка Чичикова противопоставлена образу летящей птицы тройки, символизирующей Россию и ее духовный путь.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой.



Канифас — льняная прочная  
обычно полосатая ткань.

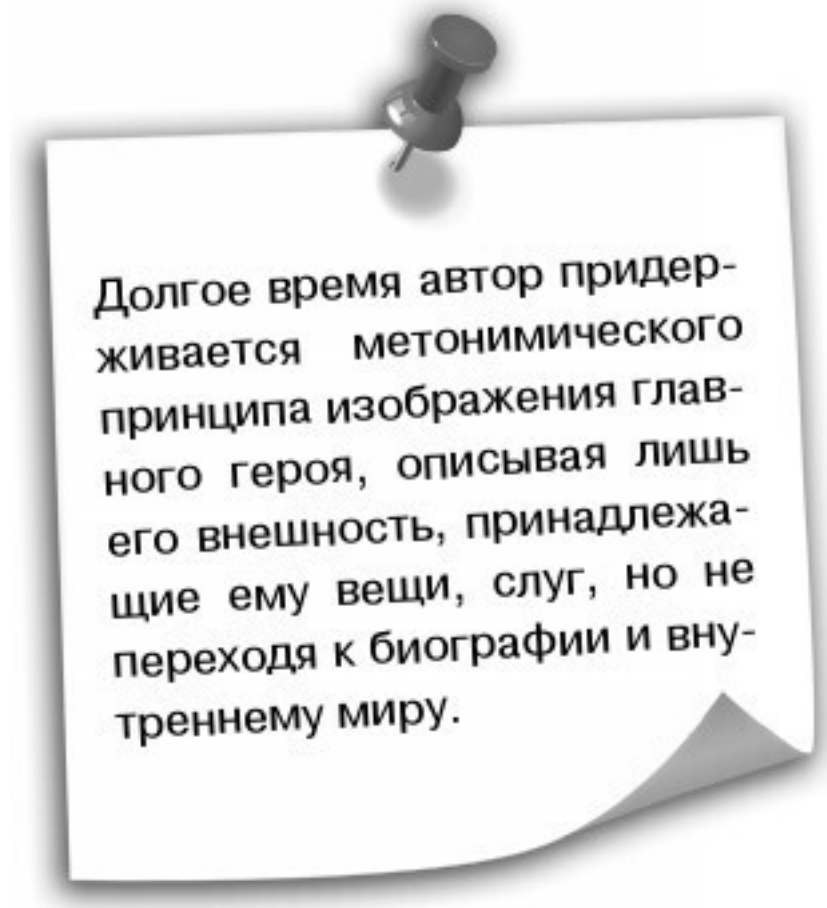
Манишка — съемная или  
пришитая нагрудная встав-  
ка на мужскую рубашку или  
женское платье, имитирую-  
щая сорочку.

Демикотон (букв. от франц.  
demi-coton — полухлопок) —  
плотная хлопчатобумажная  
ткань.

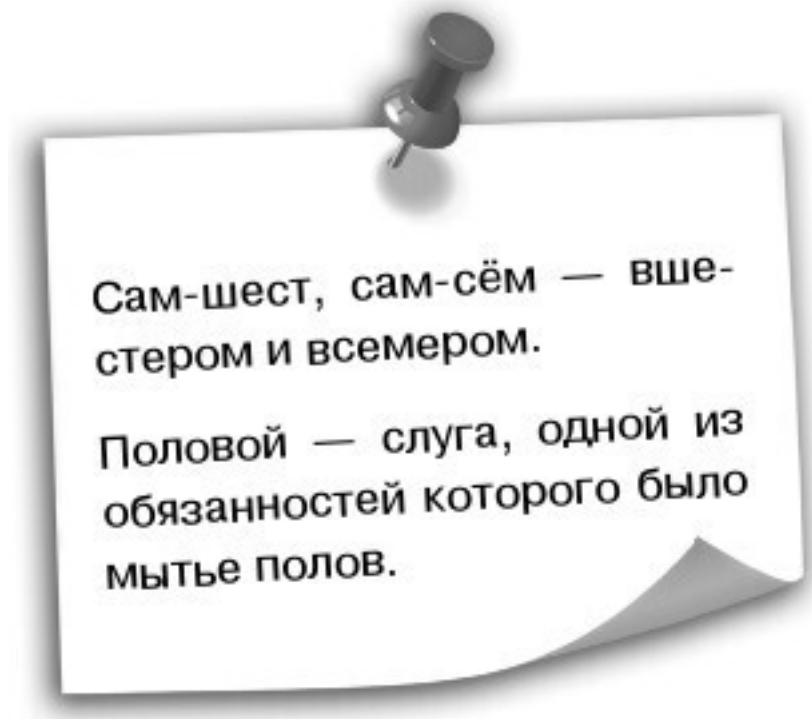
Покой был известного рода; ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки приезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бороною.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева, с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда всё это было

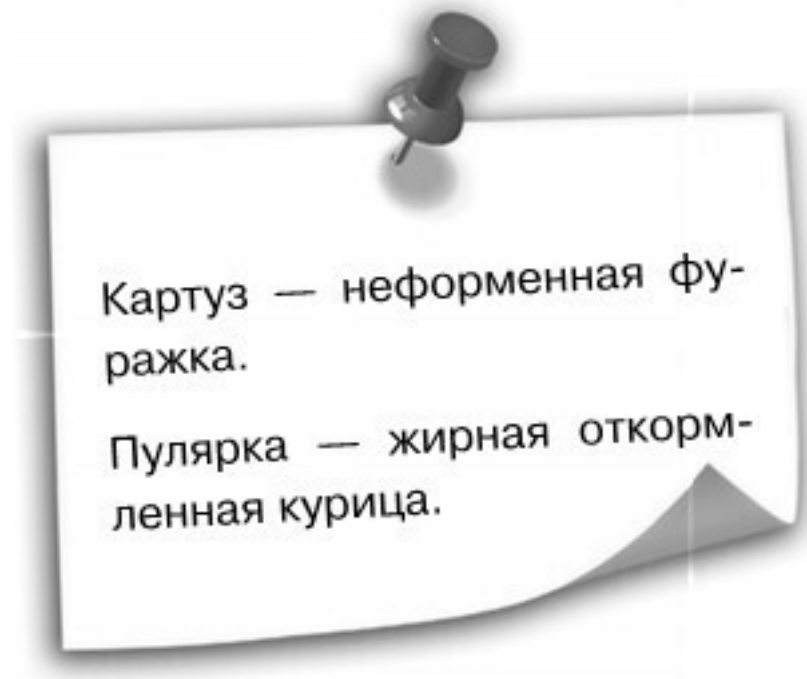
внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.



Один из главных приемов создания образа персонажа – портрет. Чичиков ничем не выделяется, не имеет запоминающихся черт, ни то ни сё. Так ему проще обмануть, так легче затеряться в случае опасности. Эта особенность внешности создает также мистический план: герой и присутствует в эпизоде, и одновременно, подобно, нечистым духам, бесам, как бы растворяется в пространстве, исчезает.



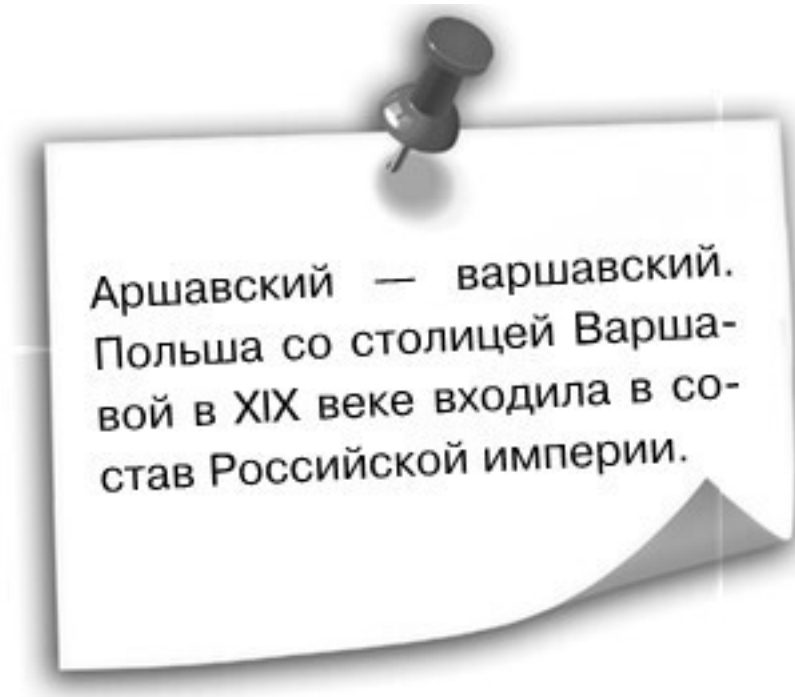
Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы – всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю, тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу, те же картины во всю стену, писанные масляными красками, – словом, всё то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров.



Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым prepares своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленный и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему всё это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин, на что половой по обыкновению отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника, но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии, повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подобного, и всё так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на

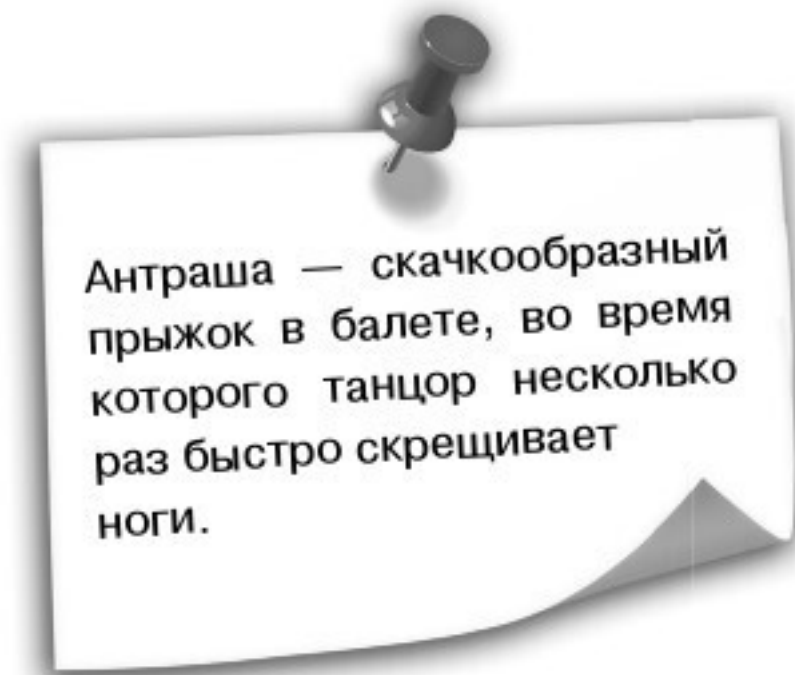
лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой всё еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости.

Коллежский советник – чин 6-го класса по «Табели о рангах», принятой при Петре I в 1722 г. и предусматривавшей 14 ступеней служебной иерархии. Это высокий чин, соответствовавший полковнику в пехоте. Вспомним, что у героя повести «Шинель» Акакия Акакиевича Башмачкина был чин 9-го класса – титулярный советник, а Хлестаков из «Ревизора» имел самый низкий чин 14-го класса – коллежский регистратор.

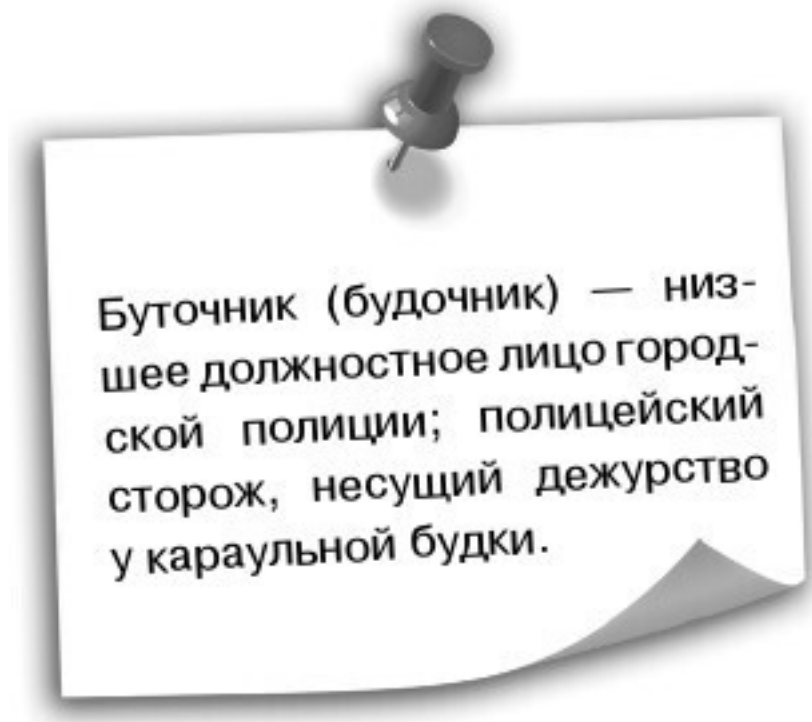


Имя Павел скорее всего указывает на будущее духовное перерождение Чичикова, подобно тому, какое пережил гонитель христиан Савл, ставший учителем христианства первоверховным апостолом Павлом, в честь которого герой был назван. Отчество Иванович подчеркивает его типичность.

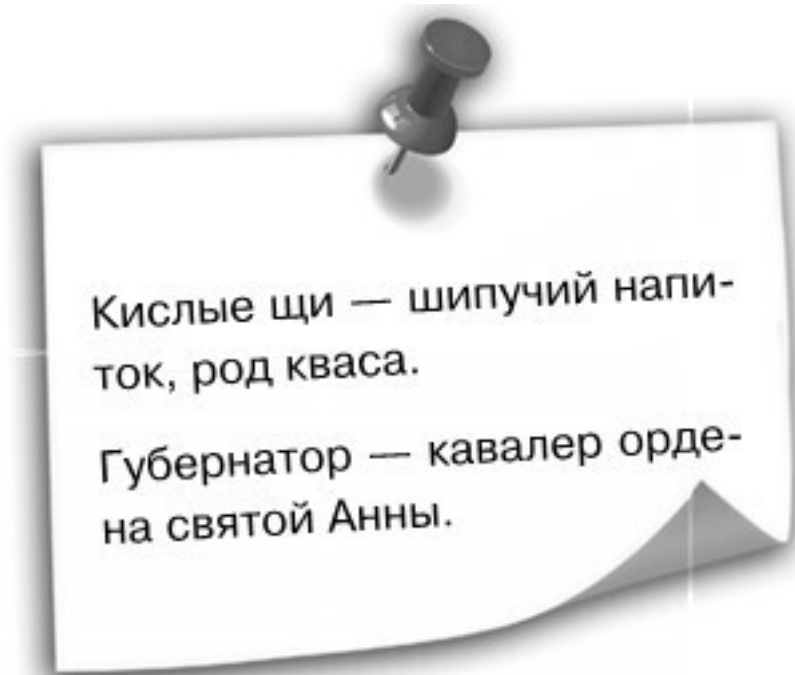




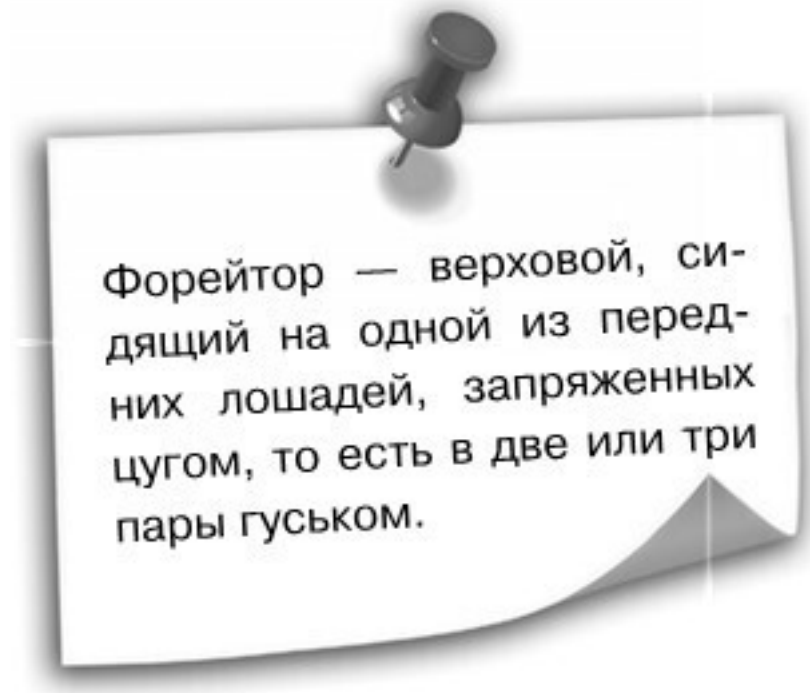
Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был билиард с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умиительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику.



Расспросивши подробно буточника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее с узелком в руке, и, еще раз окинувши всё глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г-на Коцебу, в которой Роллу играл г-н Поплёвкин, Кору – девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом перевернул на другую сторону – узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать всё, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.



Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомянуть всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских буточников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.



О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и недостоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот всё, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезде оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляски с фонарями, перед подъездом два жандарма, фореиторские крики вдали, — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или

передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами.

Герои Гоголя имеют значимые, часто «говорящие» фамилии, которые писатель тщательно обдумывал. Фамилия Чичиков не вполне ясна. Возможно, это звукоподражание по аналогии с «чик-чирик». В Словаре В.И. Даля есть слова начичи к – «франтовски, щегольски, модно» и чичи говатый – «упрямый, беспокойный, причудливый, привередливый, на кого не угодишь». По объяснению И.А. Виноградова, чичик (встречается в украинской загадке) – вода в мельничном водостоке, либо: вороватый хищный кот. По мнению о. Симеона (Томачинского), фамилия Чичиков происходит от итальянского чичероне – проводник.

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских: имели так же весьма чисто, обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пяtilись от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват; волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «чёрт меня побери», как говорят французы; волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкапулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодами. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», – человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека,

которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался, несколько набок, впрочем не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнюю губу верхнюю и сохранил такое положение во всё время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!», или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!», или «пикендрас! пичурушух! пичура!», и даже просто: «пичук!» – названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но «вы изволили пойти, я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и шутивший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклоном головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают уже выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого, на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтись и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли

касательно следствия, произведенного казенною палатою, – он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиардной игре – и в билиардной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках – и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он всё это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор – что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты – что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер – что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера – что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худошавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти весь город.

## Глава II

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более сурьезное, ближе к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные и то, что называют, второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, – но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно всё равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, – он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит.

Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характеристические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, чёрт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом: или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, – может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош; не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», – бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек... Но автор весьма сожалеет, занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобались уже к чином генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются



гордо человеком на всё, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а всё, однако ж, нужно возвращаться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случилось воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку.

С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни всё не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

Фамилия Манилов связана с *манить* – «звать, привлекать, прельщать». Диалектное слово *мана* – мираж. Герой производит приятное впечатление, но потом вызывает скуку. Манилов занят глупыми и нереализуемыми мечтами. На это указывает слово *маниловицина* – «мечтательно-бездеятельное отношение к окружающему, беспочвенное благодушие». Сравним его со словом *обломовщина* из романа И. А. Гончарова «Обломов». Характерная оговорка Чичикова, назвавшего деревню Манилова не Маниловкой, а несуществующим названием – Заманиловкой. Оно образовано от глагола совершенного вида *заманить*, то есть «завлечь какой-нибудь приманкой; обманом завлечь в засаду, в сети». Чичиков плетет интриги, заманивает своим необычным предложением, но и сам находится под воздействием своей страсти, созданного его воображением миража.

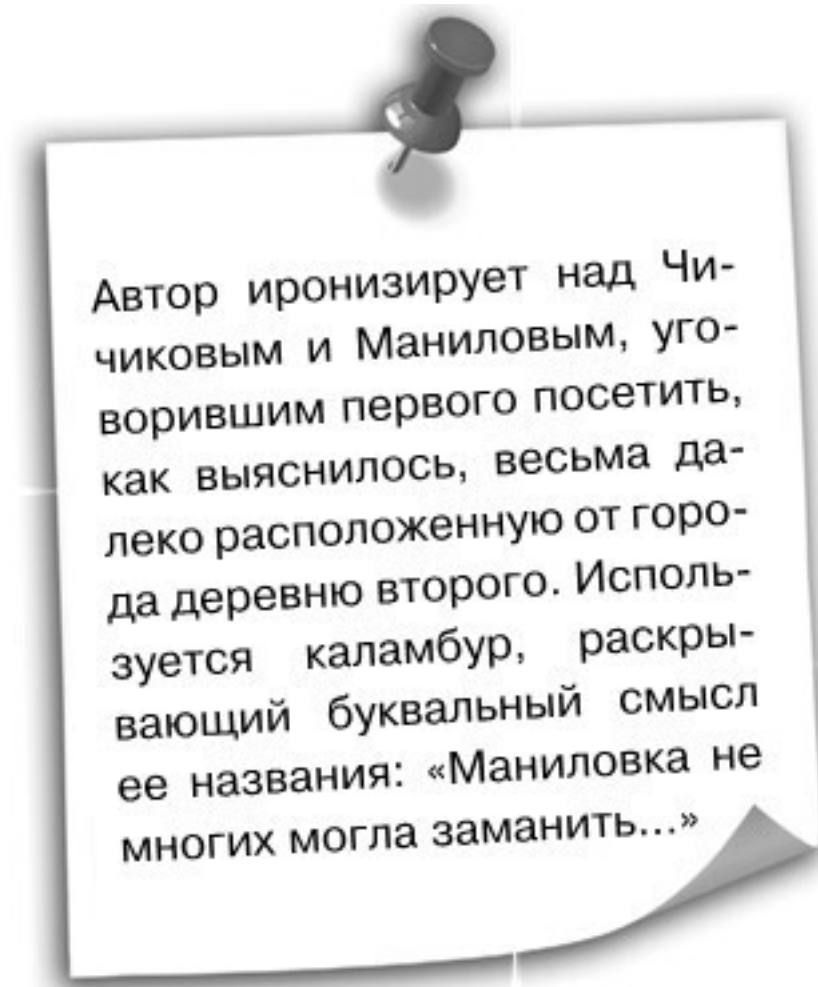
– Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

– Ну да, Маниловка.

– Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо.

– Направо? – отозвался кучер.

– Направо, – сказал мужик. – Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Манилов-ка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.



Один из важных признаков, по которому можно судить о помещике, – его усадьба. У каждого из посещенных Чичиковым землевладельцев она своя. Дом Манилова стоит одиночкой на возвышенности, на юру, и открыт всем ветрам. Помещик не имеет ни одной сколько-нибудь основательной мысли, на которой он может задержаться и которую может воплотить в жизнь.




Название беседки пародийно. Оно напоминает о штампах литературы сентиментализма и о характере Манилова, в котором преобладала слащавость. Архитектурные изыски героя могли быть отражением парковых построек, построенных по распоряжению Николая I в стиле рококо в Петергофе.

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа всё еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покато́сть горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частью по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым

цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозга носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

– Павел Иванович! – вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. – Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ – и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, – эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.



Описанию внешности Манилова предшествует ироничное лирическое отступление о сложности передачи типичных характеров. Эта установка отражает гоголевский реалистический метод.

Характер людей одного с Маниловым типа из-за его сложности передан метафорически. Подобно Чичикову, чья внешность обрисована через крайние точки, между которыми находится тот или иной признак («ни слишком толст, ни слишком тонок»), характер Манилова – «ни то ни сё, ни в городе Богдан ни в селе Селифан».

Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни сё, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: какой приятный и добрый человек! В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: чёрт знает, что такое! и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков, – словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», – «Да, недурно», – отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером: «Да, именно недурно», – повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по дать заработать», – «Ступай», – говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложленная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недоставало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутрным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то

просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги.

Манилов обладал светлыми волосами (белокур), имел голубые глаза и «черты лица... не лишенные приятности». Однако первое впечатление вскоре рассеивается и сменяется на противоположное после того, как открывается внутренняя пустота персонажа. Духовная ограниченность, бедность способна обесмыслить, лишить привлекательности и физическую красоту.

Другой важный прием, который Гоголь использует для характеристики помещиков, – интерьер. В доме Манилова предметы мебели, столовые приборы и утварь напоминают о том, что хозяин не доводит начатое дело до конца. Их описание строится на основе контраста: мебель, обтянутая дорогой материей, и недоделанные кресла; щегольской подсвечник и старый «медный инвалид».

Жена его... Впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них всё еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготавлиемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает всё остальное время? Но всё это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; всё это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... но признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

– Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, – говорил Чичиков.

– Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, – говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

– Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, – говорил Чичиков.

– Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

– Почему ж образованному?... Пожалуйста, проходите.

– Ну, да уж извольте проходить вы.

– Да отчего ж?

– Ну, да уж оттого! – сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

– Позвольте мне вам представить жену мою, – сказал Манилов. – Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее, не проходило дня, чтобы не вспоминал о нём.

– Да, – промолвил Манилов, – уж она, бывало, всё спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» – «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение, майский день, именины сердца...

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

– Вы всё имеете, – прервал Манилов с тою же приятною улыбкою, – всё имеете, даже еще более.

– Как вам показался наш город? – примолвила Манилова. – Приятно ли провели там время?

– Очень хороший город, прекрасный город, – отвечал Чичиков, – и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

– А как вы нашли нашего губернатора? – сказала Манилова.

– Не правда ли, что препотеннейший и прелюбезнейший человек? – прибавил Манилов.

– Совершенная правда, – сказал Чичиков, – препотеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

– Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках, – присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

– Очень обходительный и приятный человек, – продолжал Чичиков, – и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

– А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? – сказал Манилов, опять несколько прищутив глаза.

– Очень, очень достойный человек, – отвечал Чичиков.

– Ну позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

– Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов; очень, очень достойный человек.

– Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? – прибавила Манилова. – Не правда ли, прелюбезная женщина?

– О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, – отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

– Вы всегда в деревне проводите время? – сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

– Больше в деревне, – отвечал Манилов. – Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидаться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь всё время жить взаперти.

– Правда, правда, – сказал Чичиков.

– Конечно, – продолжал Манилов, – другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое... – Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: – Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только иногда почитаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

– Но знаете ли, – прибавил Манилов, – всё, если нет друга, с которым бы можно поделиться...

– О, это справедливо, это совершенно справедливо! – прервал Чичиков. – Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», – сказал один мудрец.

– И знаете, Павел Иванович! – сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. – Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...

– Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, – отвечал Чичиков.

– О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..

– Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

– Прошу покорнейше, – сказал Манилов. – Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах; у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех годах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

– Какие миленькие дети, – сказал Чичиков, посмотрев на них, – а который год?

– Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть, – сказала Манилова.

– Фемистоклос! – сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался высвободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение.



Фемистоклос – имя, напоминающее о Фемистокле, знаменитом древнем афинском полководце. Окончание римских имен – юс искусственно добавлено к имени, имеющему греческое происхождение. Это создает комический эффект, особенно с учетом местонахождения персонажа в русской провинциальной усадьбе.

– Фемистоклос, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Здесь учитель обратил всё внимание на Фемистоклоса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклос сказал: «Париж».

– А у нас какой лучший город? – спросил опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

– Петербург, – отвечал Фемистоклос.

– А еще какой?

– Москва, – отвечал Фемистоклос.

– Умница, душенька! – сказал на это Чичиков. – Скажите, однако ж... – продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым. – Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

– О, вы еще не знаете его! – отвечал Манилов, – у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклос, – продолжал он, снова обратясь к нему, – хочешь быть посланником?

– Хочу, – отвечал Фемистоклос, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

Алкид – одно из имен Геракла, полубога греческой мифологии. Геракл совершил 12 знаменитых подвигов и отличался исключительной силой и быстротой. Манилов говорит, что его младший сын Алкид не так быстр, как старший – Фемистоклос. Это тоже вызывает комический эффект, особенно с учетом того, что быстрый Фемистоклос преследует замеченную им «букашку или козявку», а отнюдь не грозного соперника.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал вилок по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклос укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

– В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет, – сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. – Вот мой уголок, – сказал Манилов.

– Приятная комнатка, – сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядами. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

– Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах, – сказал Манилов. – Здесь вам будет попокойнее.

– Позвольте, я сяду на стуле.

– Позвольте вам этого не позволить, – сказал Манилов с улыбкою. – Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

– Позвольте мне вас попотчевать трубочкою.

– Нет, не курю, – отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

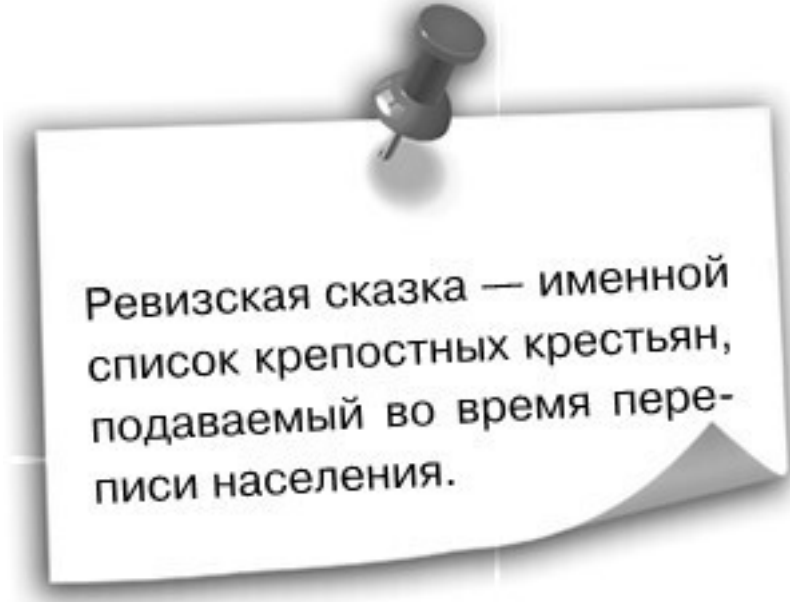
– Отчего? – сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

– Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

– Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишним лет, но благодаря Бога до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это точно случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

– Но позвольте прежде одну просьбу... – проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем, неизвестно отчего, оглянулся назад. Манилов тоже, неизвестно отчего, оглянулся назад. – Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?



Ревизская сказка — именной  
список крепостных крестьян,  
подаваемый во время пере-  
писи населения.

– Да уж давно; а лучше сказать – не припомню.

– Как с того времени, много у вас умерло крестьян?

– А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

– Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

– Да как сколько? Многие умирали с тех пор, – сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка.

– Да, признаюсь, я сам так думал, – подхватил Манилов, – именно очень многие умирали! – Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: – Точно, очень многие.

– А как, например, числом? – спросил Чичиков.

– Да, сколько числом? – подхватил Манилов.

– Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало: их никто не считал.

– Да, именно, – сказал Манилов, обратясь к Чичикову, – я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

– Ты, пожалуйста, их перечти, – сказал Чичиков, – и сделай подробный реестрик всех поименно.

– Да, всех поименно, – сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» – и ушел.

– А для каких причин вам это нужно? – спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

– Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян... – сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

– Но позвольте спросить вас, – сказал Манилов, – как желаете вы купить крестьян, с землею или просто на вывод, то есть без земли?

– Нет, я не то чтобы совершенно крестьян, – сказал Чичиков, – я желаю иметь мертвых...

– Как-с? извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово...

– Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, – сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперея друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он, но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, всё было

прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

– Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

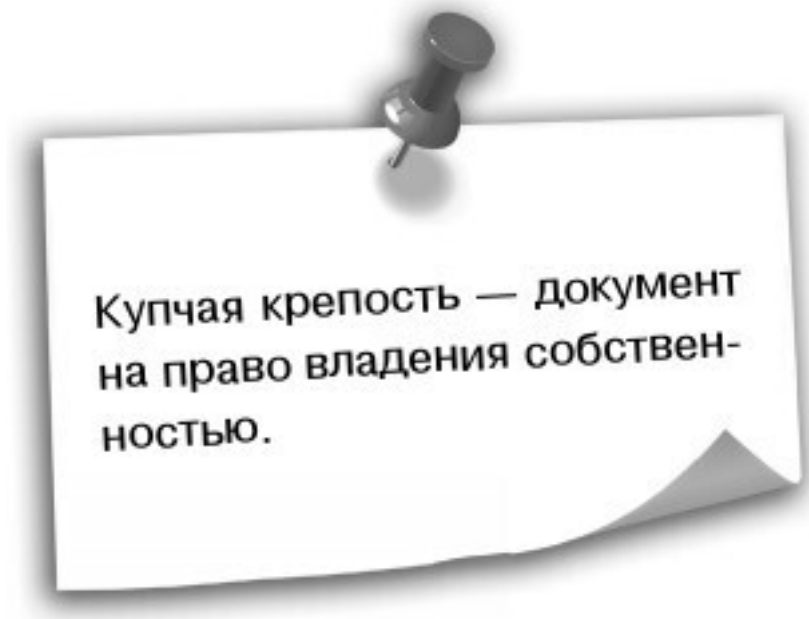
– Мне кажется, вы затрудняетесь?.. – заметил Чичиков.

– Я?.. нет, я не то, – сказал Манилов, – но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

– Нет, – подхватил Чичиков, – нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос – чёрт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри.

– Итак, если нет препятствий, то с Богом, можно бы приступить к совершению купчей крепости, – сказал Чичиков.



– Как, на мертвые души купчую?

– А, нет! – сказал Чичиков. – Мы напишем, что они живые, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон – я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он всё-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства, но чубук хрипел и больше ничего.

– Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

– О, помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли эта негоция не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины.

– Так вы полагаете?..

– Я полагаю, что это будет хорошо.

– А если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, – сказал Манилов и совершенно успокоился.

– Теперь остается условиться в цене...

– Как в цене? – сказал опять Манилов и остановился. – Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то, с своей стороны, я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностию, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

– Очень не дрянь, – сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: – Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте горемыке!... – Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были наворачнувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведалься в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

– Как? вы уже хотите ехать? – сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

– Лизанька, – сказал Манилов с несколько жалостливым видом, – Павел Иванович оставляет нас!

– Потому что мы надоели Павлу Ивановичу, – отвечала Манилова.

– Сударыня! здесь, – сказал Чичиков, – здесь, вот где, – тут он положил руку на сердце, – да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! И, поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.

– А знаете, Павел Иванович, – сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, – как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

– О! это была бы райская жизнь! – сказал Чичиков, вздохнувши. – Прощайте, сударыня! – продолжал он, подходя к ручке Маниловой. – Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте просьбы!

– О, будьте уверены! – отвечал Манилов. – Я с вами расстанусь не долее как на два дни. Все вышли в столовую.

– Прощайте, миленькие малютки! – сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. – Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете; но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

– Хочу, – отвечал Фемистоклюс.

– А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? – продолжал он, наклонившись к Алкиду.

– Парапан, – отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

– Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак всё будет: туррр... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! Прощай! – Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

– Право, останьтесь, Павел Иванович! – сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи.

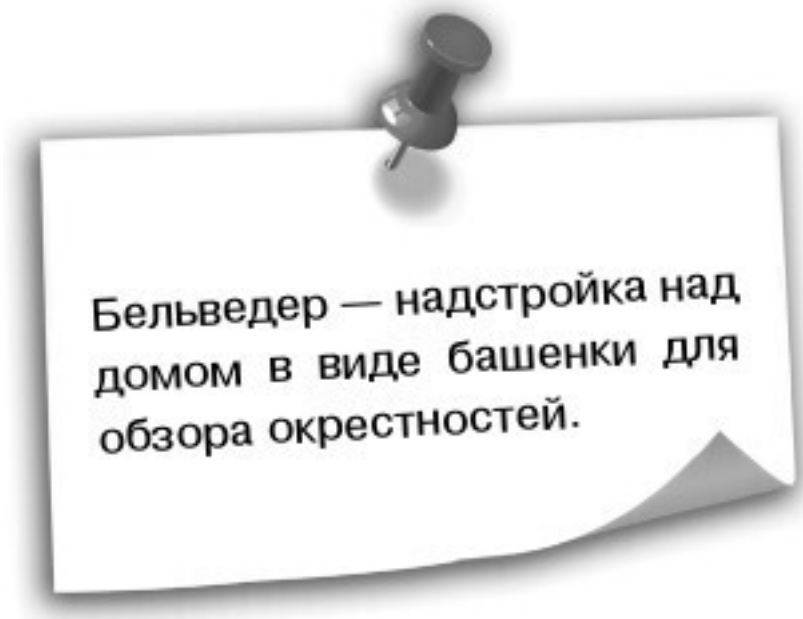
– Это маленькие тучки, – отвечал Чичиков.

– Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

– Об этом хочу спросить вас.

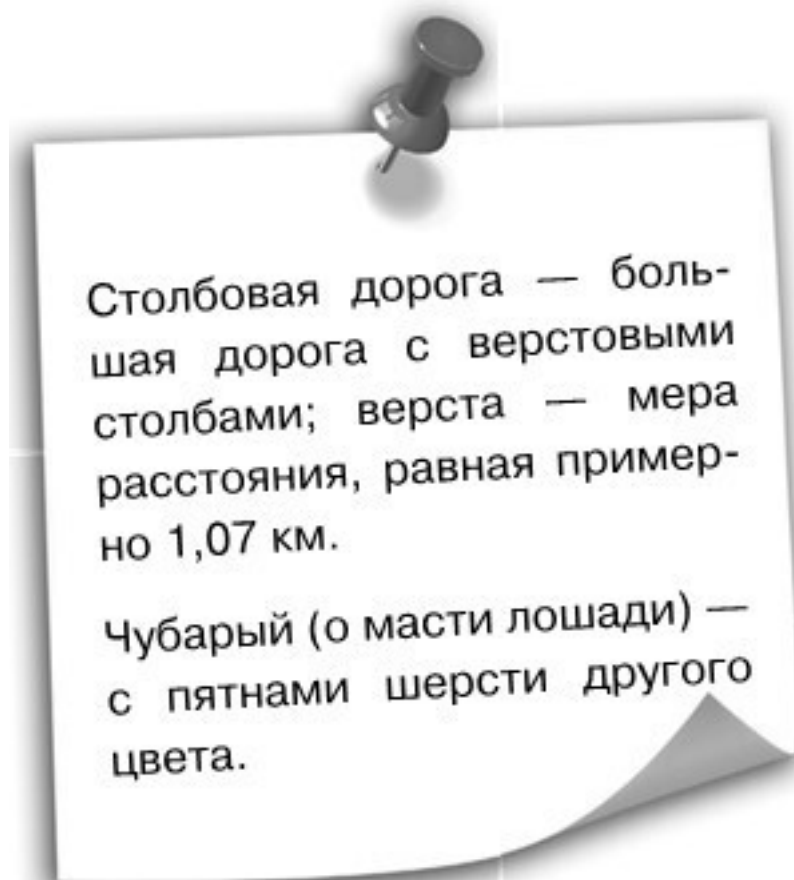
– Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру. – Тут Манилов с такою же любезностию рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.



Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он всё ещё стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромный дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее наконец бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и всё время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

## Глава III



А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его куучерр, ддовольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудились от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! – говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. – Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой – почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет!» Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» – и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда



свои други, тонкие приятели: выпить ли чаю, или закусить – с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякий отдаст почтение. Вот барина нашего всякий уважает; потому, что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеский советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя: всё небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдет что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

– Селифан! – сказал он наконец, высунувшись из брички.

– Что, барин? – отвечал Селифан.

– Погляди-ка, не видно ли деревни?

– Нет, барин, нигде не видно! – После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда всё вошло: все ободрительные и понудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого, прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попало на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

– Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? – сказал Чичиков.

– Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! – Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

– Держи, держи, опрокинешь! – кричал он ему.

– Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, – говорил Селифан. – Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. – Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил; впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время

как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

После посещения Манилова план Чичикова, предполагавшего поехать к Собакевичу, нарушается из-за грозы. Вместо прямого пути герой сбивается на путь кривой. Кучер Селифан выехал в поле и опрокинул бричку, а Чичиков упал и вывалился в грязи. В этом символически отражено духовное падение Чичикова, ставшего игрушкой в руках темных сил.

– Ты пьян как сапожник! – сказал Чичиков.

– Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусил вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

– А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? – произнес Чичиков.

– Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...

– Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком.

– Как милости вашей будет завгодно, – отвечал на всё согласный Селифан, – коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь; коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь потому, что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решила над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударила оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и достигнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:

– Кто стучит? чего расходились?

– Приезжие, матушка, пусти переночевать, – произнес Чичиков.

– Вишь ты какой востроногий, – сказала старуха, – приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор, помещица живет.

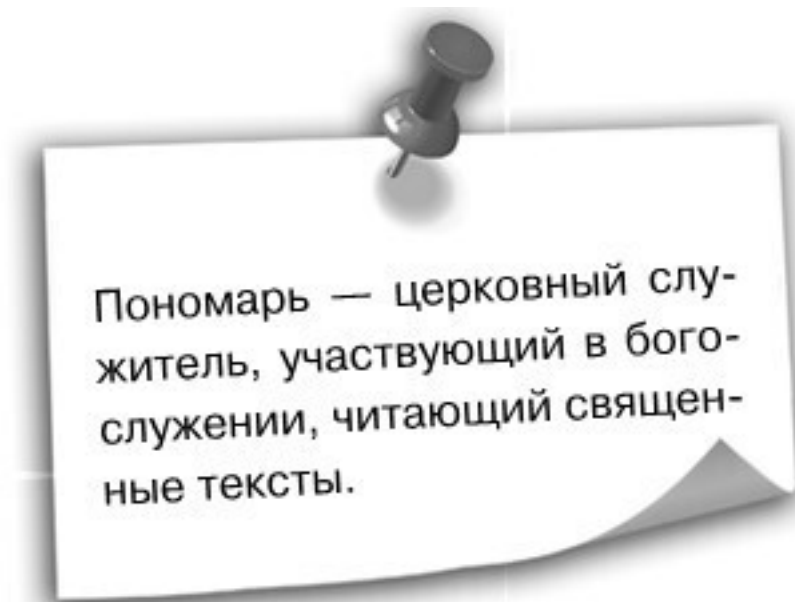
– Что ж делать, матушка, видишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

– Да, время темное, нехорошее время, – прибавил Селифан.

– Молчи, дурак, – сказал Чичиков.

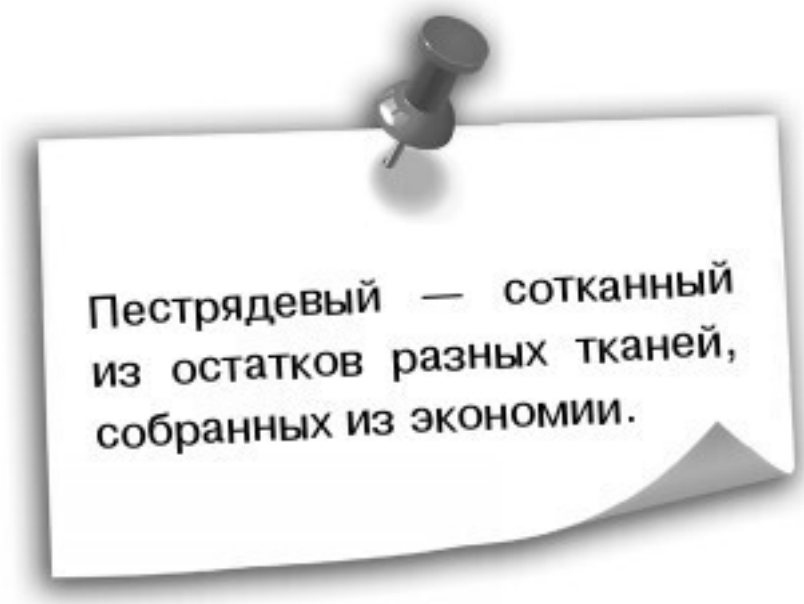
– Да кто вы такой? – сказала старуха.

– Дворянин, матушка.



Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать. «Погодите, я скажу барыне», — произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходящим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого щенка, и всё это наконец повершал бас, может быть, старик или просто наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певчий контрабас, когда концерт в полном разливе, тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и всё, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстух, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев, за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате... невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комодке ничего нет,

кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопы, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.



Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. «Ничего, ничего, — сказала хозяйка. — В какое это время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя».

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум очень походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянув вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они проббили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Портрет Коробочки отнюдь не изыскан. На ней наскоро надетый чепец, на шее — фланель, видимо, кусок ткани. Прижимистая и подозрительная, она умеет копить деньги, раскладывая монеты разного достоинства по пестрядевым мешочкам. Коробочка напоминает ведьму или Бабу-ягу. На эту мысль наводит и неожиданное «странное шипение» ее стенных часов, как бы наполняющих комнату змеями.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

- По крайней мере знаете Манилова? — сказал Чичиков.
- А кто таков Манилов?
- Помещик, матушка.
- Нет, не слыхивала, нет такого помещика.
- Какие же есть?

– Бобров, Свинын, Канапьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

– Богатые люди или нет?

– Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

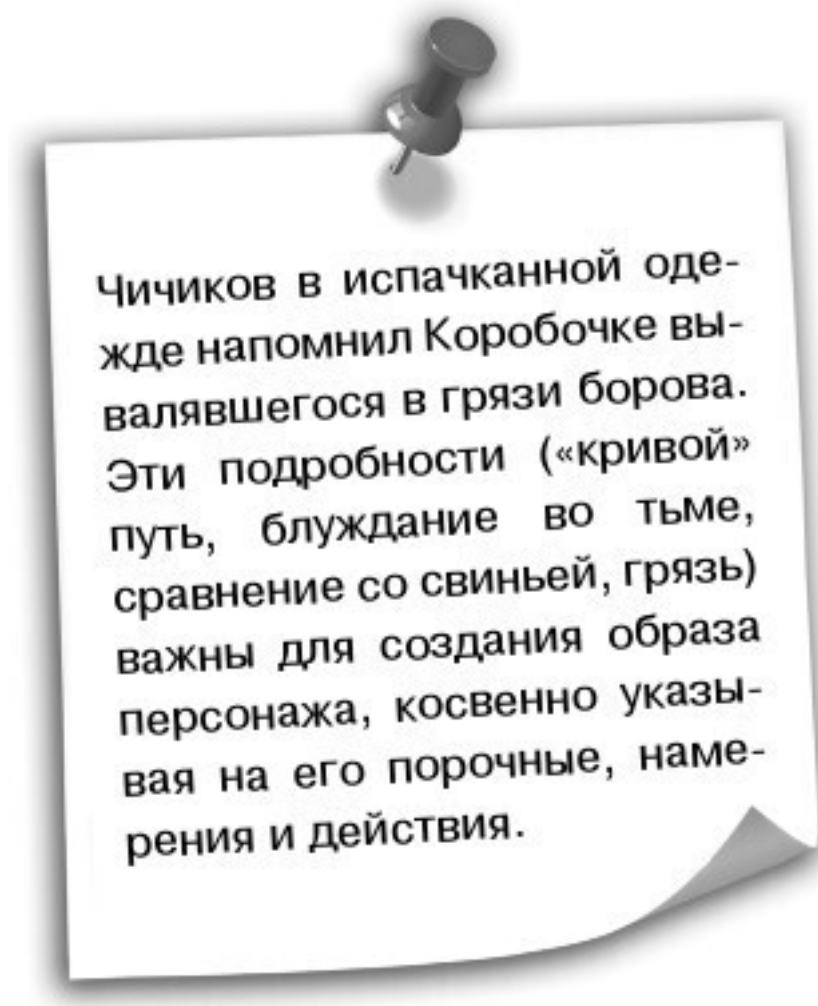
Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

– Далеко ли по крайней мере до города?

– А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать, не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

– Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

– Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время наслал Бог: гром такой – у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?



– Еще слава богу, что только засалился; нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

– Святители, какие страсти!

Да не нужно ли чем потереть спину?

– Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повисушить и вычистить мое платье.

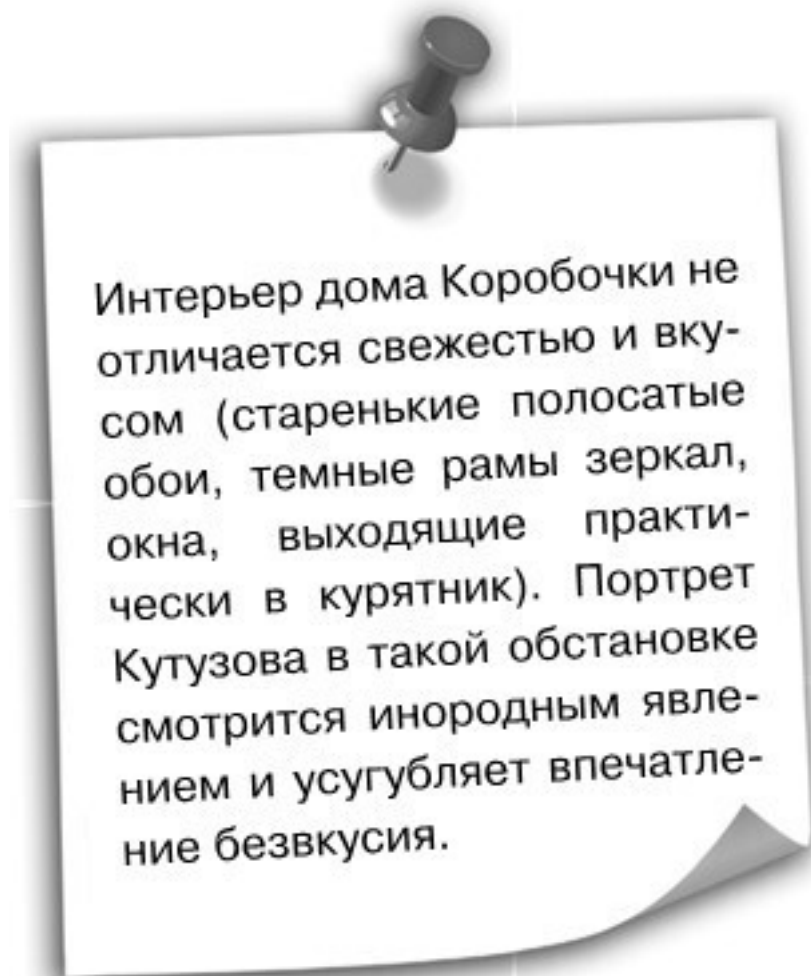
– Слышишь, Фетинья! – сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходявшей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напу-

стила целый потоп перьев по всей комнате. – Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

– Слушаю, сударыня! – говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

– Ну, вот тебе постель готова, – сказала хозяйка. – Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть – обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно всё. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка.



Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало подле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух – окно же было очень близко от земли – заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, переграждал досчатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врасыпную и не заключены в правильные улицы, но по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым, ворота нигде не покосились; а в обращенных к нему

крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», – сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

– Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? – сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, в темном платье, и уже не в спальном чепце, но на шее всё так же было что-то навязано.

– Хорошо, хорошо, – говорил Чичиков, садясь в кресла. – Вы как, матушка?

– Плохо, отец мой.

– Как так?

– Бессонница. Всё поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

– Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

– Дай бог, чтобы прошло. Я-то мазала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая.

– Недурно, матушка, хлебом и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, – словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, – да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович, – говоришь, глядя на него. – Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький, тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот чёрт знает что: пищит птицей и всё смеется». Подходишь ближе, глядишь, точно Иван Петрович! «Эхе-хе», – думаешь себе... Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи.

– У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

– Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, – сказала хозяйка, – да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни.

– Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...

– Коробочка, коллежская секретарша.

Женщины в императорской России не принимались на государственную службу и не имели чинов, их социальный статус обычно определялся по отцу



или мужу. Коробочка представилась коллежской секретаршей, то есть она является вдовой коллежского секретаря, чиновника 10-го класса.

Имя Коробочки (Настасья Петровна) встречается в известной русской народной сказке «Три медведя», так там зовут мать-медведицу. Поэтому возникает ассоциативная связь между образами Коробочки и Собакевича (Михаила Семеновича), похожего «на средней величины медведя».

– Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

– Настасья Петровна.

– Настасья Петровна? Хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

– А ваше имя как? – спросила помещица. – Ведь вы, я чай, заседатель?

– Нет, матушка, – отвечал Чичиков, усмехнувшись. – Чай, не заседатель, а так, ездим по своим делишкам.

– А, так вы покупатель! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

– А вот меду и не купил бы.

– Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

– Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

– Ох, батюшка, осымнадцать человек! – сказала старуха, вздохнувши. – И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них; всё такая мелюзга, а заседатель подъехал, подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

– Разве у вас был пожар, матушка?

– Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил; только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь; а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать.

– На всё воля Божья, матушка! – сказал Чичиков, вздохнувши, – против мудрости Божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

– Кого, батюшка?

– Да вот этих-то всех, что умерли.

– Да как же уступить их?

– Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

– Да как же? я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старухахватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

– Да на что ж они тебе? – сказала старуха, выпучив на него глаза.

– Это уж мое дело.

– Да ведь они ж мертвые.

– Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

– Право, не знаю, – произнесла хозяйка с расстановкой. – Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

– Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

– Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну баба, кажется, крепколобая!» – подумал про себя Чичиков.

– Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого...

– Ох, отец мой, и не говори об этом! – подхватила помещица. – Еще третью неделю внесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.

– Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупатель; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

– Так что ж, матушка, по рукам, что ли? – говорил Чичиков.

– Право, отец мой, никогда еще не случалось мне продавать покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткнут.

– Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

– Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят.

– Послушайте, матушка... эх какие вы! что ж они могут стоять? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

– Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! – сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. – Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, всё отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решил попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною.

– Вы, матушка, – сказал он, – или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почему продали мед?

– По двенадцати рублей пуд.

– Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

Фамилия Коробочка – «говорящая». Она передает характер своей носительницы, склонной к накопительству, сребролюбию. Именно Коробочка, боясь, не продешевила ли она с продажей мертвых душ, позже приезжает в губернский город и начинает вести расспросы, вызвавшие подозрения и всевозможные толки о Чичикове. С Коробочкой и ее мешочками ассоциируется шкатулка Чичикова, которому стремление к накопительству и наживе присуще еще в большей степени.

– Ей-богу, продала.

– Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму, а мертвые души – дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания: на то была воля Божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями. – После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец подается.

– Право, – отвечала помещица, – мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

– Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

– А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... – возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

– Мертвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

– С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! – проговорила старуха, крестясь.

– Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы, всё вам остается, перевод только на бумаге. Ну так что же? Как же? отвечайте по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

– О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

– Право, я всё не приберу, как мне быть, лучше я вам пеньку продам.

– Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суετε! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

– Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей чёрта.

Чёрта помещица испугалась необыкновенно.

– Ох, не припоминай его, бог с ним! – вскрикнула она, вся побледнев. – Еще третьего дня всю ночь мне снился, окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся: рога-то длиннее бычачьих.

– Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади они и околеи со всей вашей деревней!..

– Ах, какие ты забранки пригинаешь! – сказала старуха, глядя на него со страхом.

– Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворянка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду... – Здесь он пригнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды действовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:

– Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

– Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

– Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

– Нет, матушка, не обижу, – говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь пове-

ренного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

– Как же, протопопа, отца Кирилла, сын служит в палате, – сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было, – подумала между тем про себя Коробочка, – если бы он забирал у меня в казну муку и скотину, нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни истряпни; а Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было всё прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял накрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке: всё, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, всё было мокро. «Эк уморила как, проклятая старуха!» – сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки.

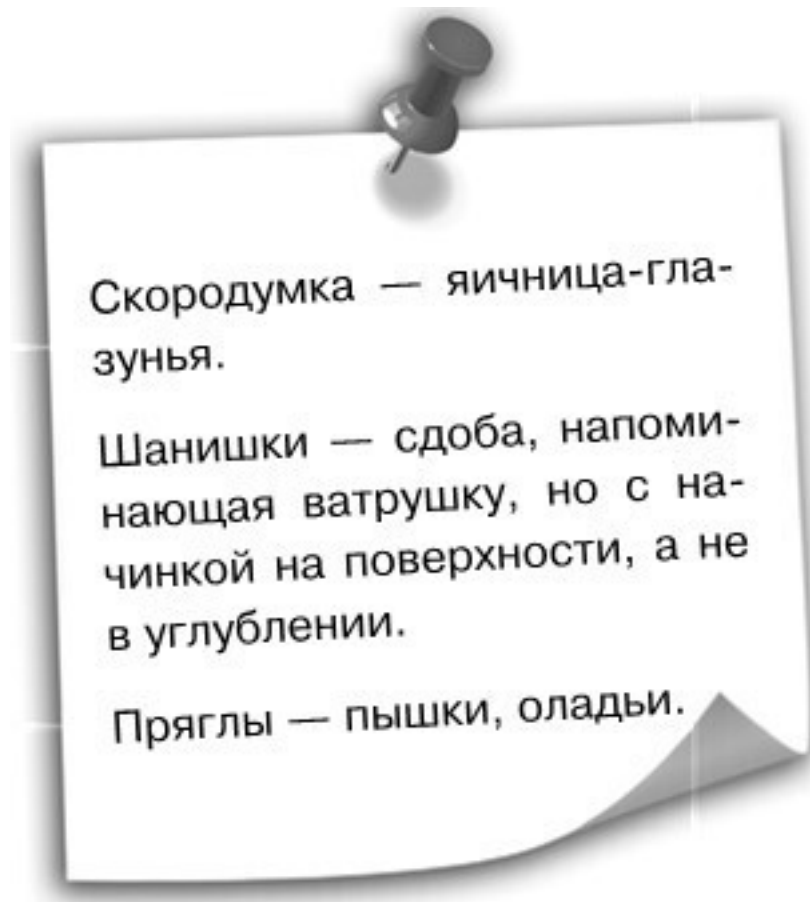
Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой середине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

– Хорош у тебя ящичек, отец мой, – сказала она, подсевши к нему. – Чай, в Москве купил его?

– В Москве, – отвечал Чичиков, продолжая писать.

– Я уж знала это: там всё хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! – продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало. – Хоть бы мне листик подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экий длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.




– Прошу покорно закусить, – сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.

– Пресный пирог с яйцом! – сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкуусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

– А блинков? – сказала хозяйка.



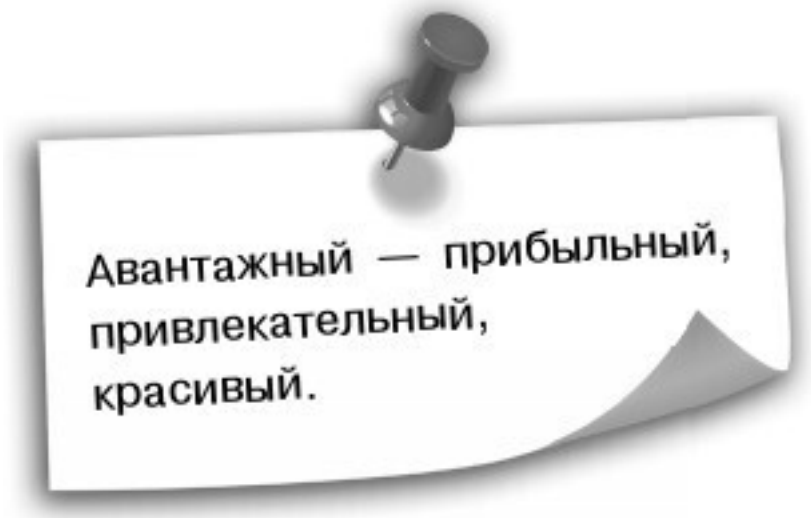
Припеки — мак, лук, яйца и другие продукты, которыми посыпались лепешки и блины.

Снеток (или сняток) — мелкая рыба.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнув их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинков.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут, — сказала хозяйка, — да вот беда, урожай плох, мука уж такая не авантажная...



Авантажный — прибыльный, привлекательный, красивый.

Да что же, батюшка, вы так спешите? – проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз. – Ведь и бричка еще не заложена.

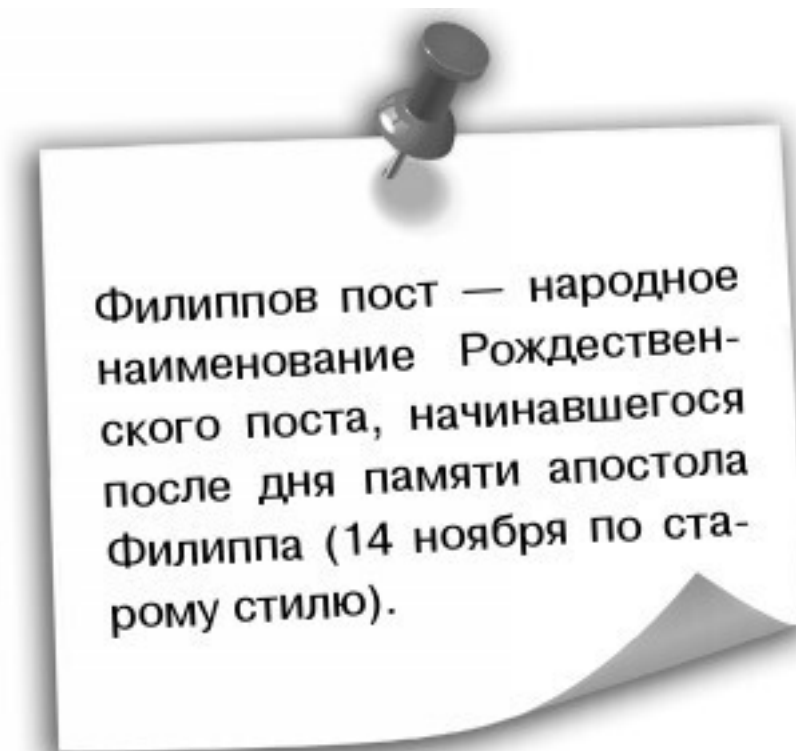
– Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

– Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

– Не забуду, не забуду, – говорил Чичиков, выходя в сени.

– А свиного сала не покупаете? – сказала хозяйка, следуя за ним.

– Почему не покупать? Покупаю, только после.



– У меня о Святках и свиное сало будет.

– Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

– Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

– Хорошо, хорошо, – говорил Чичиков.

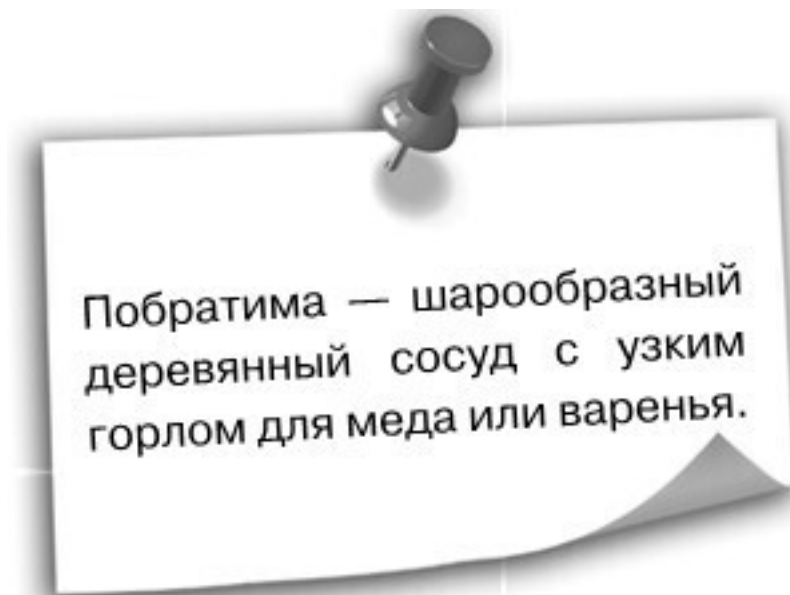
– Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, – сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

– Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

– Как же бы это сделать? – сказала хозяйка. – Рассказать мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

– Как не быть.

– Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу; только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.



Провожая Чичикова, Коробочка «вперила глаза в ключницу», служанку, хранящую ключи от замков в доме и хозяйственных построек. Эта деталь будет важна при восприятии образа Плюшкина, которого Чичиков сначала принимает именно за ключницу, а не за богатого помещика, каковым он является.

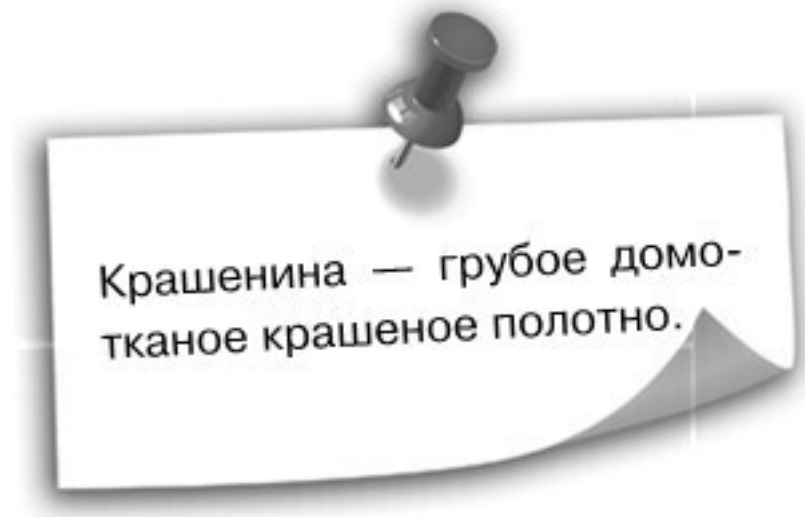
Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать всё, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная – мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недостижимо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумаящих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не успел совершенно сбегать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...

– А вот бричка, вот бричка! – вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжавшую свою бричку. – Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

– Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?





– Эй, Пелагея, – сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежеею грязью. – Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог влезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши: «А! теперь хорошо! Прощайте, матушка!» Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случилось с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотолѣ почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! – думал он сам про себя, несколько припрыдывая ушами. – Небось знает, где бить! Не хлыстнет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее, по ушам зацепит или под брюхо захлыстнет».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.